

«Ну не парадокс ли: я давал интервью сотням журналистов, и только ты, знающий меня тридцать лет, старый друг, с которым прошли семь сибирских рек, видевший меня таким, каким никто не видел, знающий обо мне больше, чем я сам о себе знаю, ты ни разу не попросил интервью для твоей газеты...»

Мы сидели на даче в подмосковном лесу, в канун первых после шестилетней паузы творческих вечеров Евгения Евтушенко в Санкт-Петербурге и в Москве, но не успел я рот открыть, как в дом ввалились студенты из Оклахомы, которым недавно поэт читал в США курс лекций по русской литературе. Хозяин дома счастливо закружился в обществе гостей, и я с облегчением подумал, что интервью придется брать когда-нибудь в другой раз.

Гурьбой отправились к Дому-музею Бориса Пастернака, после пришли на кладбище, к затененной соснами могиле поэта. И тут случилась встреча, которую я никогда не мог бы вообразить. Прогуливаясь тропами, заросшими высокой крапивой, к могиле пришла Алла Пугачева. Она была совсем не похожа на сценический образ лихой, отчаянной, головокружительной женщины со взъерошенными волосами. Я увидел ее совсем тихой, какой-то собранной, в черной кожаной куртке, со стеблем ромашки в руках.

— Неужели в нашей жизни восторгается бизнес и погибнет поэзия? — сказала она. Мы стояли притихшие, и я видел, уверен, что видел, как за ее плечами бьются несущие ее над землею два набирающих силу крыла: искусство и бизнес.

Час спустя на лесной дороге, вернувшись к тому, что тревожит Аллу Пугачеву, успешную певицу и успешного бизнесмена, Евгений Александрович говорил не столько мне, сколько юным американцам:

— В России, в отличие от других стран, вся культура начиналась с поэзии. В ней начало и великой русской прозы. Пушкин подарил Достоевскому то, что подарил потом назвал главным качеством русской культуры, изобретая замечательное новое слово всеотклик. Наша культура умела, как никакая другая, впитать в себя опыт разных культур, перелавлять их, оставляя самою собой. Пушкин был как бы семечком загадочного африканского дерева, переброшенным таинственными ветрами истории, упавшим в наши русские сугробы. И несмотря на наши морозы, все-таки расцветшим и давшим удивительные плоды, в числе которых и творчество Достоевского.

Уже с периода дописанного и первой письменности в России существовала цензура. Татаро-монгольские завоеватели нашим дописанным поэт-лирикам, певшим былины, отрубали языки и закапывали в землю. Прак-

тически вся великая русская литература — урожай из отрезанных языков. Метафорический язык поэзии позволял ей выживать и говорить правду, а потом и печатать правду даже в тяжелые времена. Сопротивление цензуры только увеличивало силу поэтического образа. В дни нашего плавания по Лене, ты помнишь, мы были на звероферме: когда открыли клетку, голубой песец оказался на воле, но испытания свободой не выдержал, вернулся в собственную клетку. По-моему, это происходит сегодня со многими из нас, не готовыми жить свободно, вне клетки.

Мне досадно, когда всех людей, живущих трудно, уставших, растерявшихся, тоскующих по древку с красным знаменем, похода называют «красно-коричневыми». Никто из нормальных людей не хочет возвращения архипелага ГУЛАГ, но с красным знаменем у многих связана юность, некоторые водружали флаг на руинах разрушенных в войну городов. Потеряв ориентировку, люди тянутся к прежней символике, а ими манипулируют. К сожалению, наши демократы слишком легко разбрасываются ярлыками, становясь в своей антисоветскости такими же непримиримо советскими, как их оппоненты.

Не нужно забывать, что в послевоенные годы именно поэзия была колыбелью гласности.

И когда я слышу нападки на шестидесятников (в данном случае я защищаю не только себя, а многих своих товарищей, людей талантливых и честных), мне они не кажутся справедливыми. Да, многие наши надежды оказались разбитыми. А чьи надежды были когда-либо осуществлены полностью? Разве существуют такие надежды?

Поэзия сыграла великую роль в том хорошем, что произошло. Мы не имеем права это забывать. Она воспитывает тонкость понимания жизни. И русский народ не будет русским народом, потеряет лицо, если утратит любовь к поэзии. Но этого, надеюсь, не произойдет. Поэзия, конечно, не урет, и в век предпринимательства все равно выживет, потому что она нужна людям, даже если сами люди об этом не догадываются.

Молодежь ушла вперед по тропе, мы чуть поотстали, и я улыбаюсь:

— Кажется, Межиров пошутил, что ты единственный поэт, у которого количество иногда переходит в качество. В этом смысле среди молодых поэтов 90-х годов у тебя, кажется, немало последователей.

— Сегодня поэзия другая. Ни на Искренко, представительница новой волны, перефразируя блоковские строки, писала: «Мы дети скучных лет России». В какой-то степени это правда, Молодые люди пережили несколько правительств, которые не оставляли надежд. Они стали самозащититься иронией, перешедшей в горький сарказм.

Среди молодых есть много талантливых, но почти всем им недостает — «мороз и солнце — день чудесный...». Их поэзия изнутри разъедается насмешливостью, которой они прикрывают себя от политического цинизма.

Наверное, это закономерно, хотя, с моей точки зрения, в любом поэте надо сохранять то, что называется солнечным зайчиком души. Солнечный зайчик танцует даже на осклизлых стенах тюрьмы. Великий при-

семья Володи Барласа. Когда я закончил чтение, мама Володи, фармацевт в аптеке по улице 25-го Октября, тогда как раз уволенная с работы, как тысячи других евреев, заплакала: «Боже мой, до чего они довели наших детей! Женечка, дорогой, никому не показывайте эти стихи...» — «Почему? — не понимал я, — об этом написано в «Правде». — «Они не виноваты, их выпустят из тюрьмы, а на вас всю жизнь будет пятно. Дорогой мой, род-

признавшись, что твоей кормилицей была бурятка.

А потом в Монголии, на Селенге, в кочевнической юрте, ты обиделся на меня, когда, не дожидаясь, пока снова появятся в твоих глазах святые слезы, я что-то спросил насчет твоей монгольской кормилицы...

Впрочем, теперь, перечитывая твои стихи, я ловлю себя на мысли, что тебя, возможно, в самом деле кормили матери всех народов разом.

Самая большая трагедия сегодня — это разрушение не экономических или государственных связей, а связей человеческих. Мне бы хотелось, чтобы республики, будучи политически независимыми и суверенными, все-таки оставались в благородной зависимости, в необходимой зависимости, как все народы в мире. Эту мысль я старался провести в вышедшем в США моем новом романе «Не умирай прежде смерти».

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО: СПАСЕНИЕ НАШЕ- ДРУГ В ДРУГЕ

мер нам завещан Пушкиным. У него есть мрачные стихи, даже трагические. Но при этом всегда играет солнечный зайчик.

Вообще, мне кажется, у нас недостает хороших людей с искорками энергии и любви к жизни в глазах. Хорошим и честным людям труднее приспособиться к быстро меняющемуся времени. Мы скорее выйдем из экономического кризиса, если в хороших людях начнет концентрироваться позитивная энергия. Потому что слишком много хороших людей сегодня в состоянии депрессии и слишком много плохих в состоянии расцвета.

Я часто думаю об А. Д. Сахарове, он был одним из немногих, перед которым стыдно. Хорошо бы в каждом учреждении завести должность — человек, перед которым стыдно. А?

— О тебе и твоей жизни, ты знаешь, ходит много легенд, я их слышал каждый раз, приезжая из Сибири в Москву, от людей, никогда не видевших тебя на карбасе, как ты стираешь свои рубашки, моешь посуду, варишь в ведре чай или компот, драишь палубу, таскаешь бочки с горючим, не допуская к ним тех, кто слабее. Но, перебирая в памяти, о чем судачат, смею ли спросить, какого поступка ты действительно стыдишься больше всего?

— В 1952 году, веря газетам, я написал стихотворение о враках-убийцах. В нем не было антисемитизма, но излагалась официальная версия. Перед тем, как отнести стихи в редакцию, я пришел прочесть их в одну еврейскую семью. Это была

ноя, спрячьте эти стихи...».

Меня это потрясло. И хотя я постылся, спрятал стихи, они никогда не были напечатаны, но при воспоминании, что я их все-таки написал, сгораю от стыда.

Недавно, когда моей маме, старшему газетному киоскеру Москвы, исполнилось 80, к ее киоску пришли молодые люди в черных рубашках, затянутых портупей: «Когда ты сдохнешь, старая жидовка, и со своим жиденком уберешься в вашу Америку?» Мама мне потом говорила: «Женя, как русской женщины, мне было очень неприятно видеть этих молодых людей, отравленных ненавистью, но могу представить, как тяжело мне было бы, если бы я действительно была еврейкой. Я знаю, Женя, все твои недостатки, я никогда тебя не идеализировала, но в тот день я подумала, если моего сына ненавидят такие подонки, наверное, он кое-что стоит».

Это был самый высокий комплимент, какой я когда-либо слышал от своей мамы. Стыд — величайший нравственный двигатель истории. Все лучшее в мире начинается со стыда.

— Ты заговорил о маме, а мне, прости, вспомнилось, как во время плавания на «Микешкине» по Лене, где-то в глуши, среди якутских оленеводов, ты всех, от мала до велика, заворожил, когда со слезами на глазах признался, что тебя, младенца, вскармливала грудью якутская женщина.

А когда два года спустя мы на «Чалдоне» шли по Витику, очаровал бурятских пастухов,

— Поэт вообще-то врать не должен, то есть лгать не должен, но у него есть право на фантазию, без фантазии не бывает настоящей литературы. Я никогда не был лжецом, ты знаешь, но всегда оставался фантазером, может быть, потому и стал писателем. Ведь фантазия — это часто то, что не может осуществиться в жизни, но тебе очень хочется, чтобы оно стало реальностью. А реальность такова: на станции Зима у моей мамы что-то случилось с молоком, и моей кормилицей действительно стала наша соседка-бурятка, у которой был такой же младенец.

А в Казахстане я в 14 лет заработал в геологической партии первые деньги и купил пишущую машинку. Для меня эта республика тоже в какой-то степени мать-кормилица, и в казахской семье, возможно, я говорил, что меня вскармливала казашка. Так могло быть на Украине, в Белоруссии, Грузии и т. д. Метафорически говоря, меня действительно подкармливали матери всех республик бывшего (к сожалению — бывшего) Советского Союза. Поэтому у меня везде братья, и можешь представить мою боль за тех из них, кто сегодня втянут в войну, будь это на Кавказе, в Средней Азии, где-либо еще.

Я оплакиваю Советский Союз, но не с прохановско-стерлиговских позиций. Нельзя было никого удерживать насильно, выход прибалтийских республик был неизбежен, но можно было, я думаю, избежать полного развала вавилонской башни, которая стала раздавливать под своими обломками живых людей.

— Когда читаешь этот роман, где судьбы людей связаны с событиями 19 августа 1991 года и где ты свел действующих лиц в 200-тысячной толпе перед Белым домом, не покидает мысль, что все твои герои, симпатичные тебе или несимпатичные, одинаково несчастны.

— Видишь ли, поэты, может быть, не разум нации, но они инстинкт нации. А инстинкт очень часто умнее разума. Блок в «Двенадцати» поднялся над схваткой: Христос у него не покидает и тех, кого убивают, и тех, кто убивает.

Обрати внимание, почему произошел такой скандал вокруг «Доктора Живаго». Это же очень добрая книга, в ней нет ненависти ни к кому. Но во времена официальной теории человека как винтика государственной машины писатель осмелился поставить историю любви выше истории как таковой. В этом было его великое духовное первооткрывательство. И это вызвало ненависть тех, кто привык нас жить в обстановке всеобщей взаимной ненависти.

Это гениально выразил Волошин, написавший лучшие стихи о гражданской войне: «А я один стою меж них в ревушем пламени и дыме и всеми силами своими молюсь за тех и за других». Волошин жил в Крыму, и когда приходили красные, он их прятал от белых, а когда приходили белые, он их прятал от красных. Те и другие сажали его в каталажку, считая придурком, а этот чудак в древнегреческой тоге и в венке из сухих бессмертников, шагавший по дороге в сандалиях и с большой

палкой, оказался провидцем. Инстинктом он понял будущую философию XXI века. Эта философия уже где-то внутри нас начинает формулироваться.

Думаю, наша интеллигенция, особенно в регионах национальных конфликтов и войн, должна учиться волошинскому отношению к противоборствующим сторонам.

Те, кто был на баррикадах у Белого дома, я это сам испытал, конечно же, в те дни были счастливы: снова жизнь наполнилась смыслом и надеждами. Я никогда не видел столько хороших людей вместе. Всем нам тогда было хорошо. Чувство было такое замечательное, что в нем не оставалось ненависти к побежденным.

Но дело в том, что роман я писал несколько позже августовских событий и, изображая счастливых людей, я как писатель уже знал, что с ними случится в следующий момент. Мне уже было известно, что их ожидания не оправдаются. Может быть, поэтому в описании радости примешивалась горечь.

Мне кажется, обязательное желание насильственно политизировать человека, отнести его непременно к какой-либо партии, группе, стае, стаду, это снова насиле над человеческой душой. Мы нуждаемся в порядочном поведении людей. К сожалению, если разделить общество политически, увидишь не порядочных людей как в одной враждующей группе, так и в другой.

Споря о наших различных представлениях, как вытаскивать страну, мы должны научиться

разговаривать. И если хочешь — как на заре жизни, как в начале человеческой истории — учиться любить друг друга.

...Вечером, когда мы вернулись на дачу, к поэту приехали Сергей и Таня Никитины с гитарой показать новую песню на его стихи, которую они исполнили 21 июля на творческом вечере поэта в киноконцертном зале «Россия».

Провожая меня, Евгений Александрович достал из почтового ящика почту. Пробежав глазами одно из писем, он протянул мне. Письмо из Вашингтона от Билла Клинтона.

«Дорогой Евгений, благодарю Вас за книгу Ваших избранных стихов, которую мне передал губернатор Уолтерс. Я хочу поддержать историческое движение к демократии и свободному предпринимательству, происходящее сейчас в бывшем Советском Союзе. Я буду иметь в виду Ваши исполненные мысли слова, пытаюсь справиться с многочисленными вызовами, которые бросает мне быстро меняющаяся Россия. Искренне Ваш Билл Клинтон».

В канун 60-летия поэта поздравил Борис Ельцин.

У ворот Евгений Александрович придал лицу виновато-умоляющее озорное выражение:

— У меня к тебе просьба. Если будешь писать, можешь ли ты представить меня чуть-чуть умнее?

— Конечно, — пообещал я, — но тогда это будет еще одна легенда о тебе.

Леонид ШИНКАРЕВ.
Фото Алексея БЕЛЯНЧЕВА.

